

Андрей
Колесников

Попасть в переплёт

Избранные места
из домашней
библиотеки



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К66

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

В оформлении переплета использована картина СЕМЕНА АГРОСКИНА

Колесников, Андрей Владимирович.

К66 Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки / АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2023. — 412, [4] с. — (Независимый текст).

ISBN 978-5-17-156235-9

Андрей Колесников — журналист и политический аналитик, автор нескольких книг, среди которых мемуарный том “Дом на Старой площади”. Лауреат ряда профессиональных премий, в том числе Премии имени Егора Гайдара (2021) “за выдающийся вклад в области истории”.

“По Борхесу, библиотека — это Вселенная. А домашняя библиотека — это вселенная одной семьи. Она окружает как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя жизнь, прячутся секреты — записочки, рисунки, троллейбусные билеты, квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды. Книги, исчерканные пометами нескольких поколений, тома, которыми пользовались для написания школьных сочинений и прабабушка, и правнук. Запахи книг многослойные, сладковатые и тактильные ощущения от обложек — это узнавание дома, это память о семье. Корешки собраний сочинений — охрана от враждебного мира. Стоят рядами темно-зеленые тома Диккенса и Чехова, зеленые Гоголь и Тургенев, темно-красные Драйзер и Фейхтвангер, темно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майн Рид — и держат оборону. Жизнь продолжается...”

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-156235-9

- © Колесников А.В., текст, 2023
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2023
- © Агроскин С.Е., иллюстрация, 2022
- © ООО “Издательство АСТ”

Содержание

Подписано в печать	9
Говорит “Москва”	47
Бегство из “края непуганых идиотов”	55
“Но ведь он мастер, мастер?”	63
Разоблаченная морока	70
“Вся жизнь была единоборством с царящей пошлостью...”	77
<i>Игры с режимом</i>	79
<i>Факт и акт</i>	81
“Кругом в дерьме...”	83
Истребитель тиранов	86
<i>Корни и крона</i>	88
<i>Убить его</i>	90
<i>Почтовая марка</i>	92
<i>Post scriptum. Бабочки пошлости: из истории квазилитературных войн со вкусом политики</i>	94
Поэт и “менеджер”	99
<i>Там, где мой народ</i>	102
<i>Искусство для искусства</i>	107
<i>Монахиня и холодная война</i>	108
<i>Стилистические разногласия</i>	110

Тающий снег, пахнущий огурцом	112
<i>Post scriptum. Слякоть вместо оттепели.</i>	
С последующими заморозками	116
“Заглушают голос мой”	122
Прерванный “Диснейленд Холокоста”	129
Бублики с улицы Чехова	139
О неискренности в литературе.	146
Сопrotивление системе изнутри: “Новый мир”	
и его враги	152
<i>Чего же он кочет?</i>	153
<i>От искренности к правде</i>	157
<i>Post scriptum. Буртин: “Проиграем XXI век”</i>	161
Низковисящие плоды оттепели	163
Будущие шестидесятые	172
Опоздавший вовремя	180
Белый свитер Тарковского	186
“Вехи” на пути русской интеллигенции	198
<i>На языке сборников</i>	199
<i>Измена?</i>	201
<i>Исторические параллели</i>	205
Философское пароходостроение	207
Кормер. Двойное сознание российского интеллигента	214
<i>Post scriptum. Арсений Рогинский:</i>	
“Уберите Сталина”	220
Мамардашвили. Опыт свободного мышления	224
<i>Сестра и любовь</i>	225
<i>Против социальной алхимии</i>	226
<i>Без “отличительного колпака”</i>	228

<i>Взаимная индукция мысли</i>	229
<i>Усилие</i>	230
Трифонов — Кормер. Двойное зеркало (анти)советского человека.	233
Крик шепотом	241
Не могу быть рабом	249
Кинотеатр повторного фильма.	256
Встретимся в следующем сценарии	261
Теорема П.П.П.	268
<i>Post scriptum. Гибель богов по-русски</i>	274
Уроки польского	279
Три минуты молчания	288
Прага, Париж, Москва — бумеранг 1968-го.	295
<i>Сердце народа — в заднице СССР</i>	297
<i>Бумеранг 1968-го.</i>	302
<i>Три конца истории.</i>	304
<i>Post scriptum. Тройная свобода мысли</i>	306
МОСХ партии.	314
Страна и мир Кронида Любарского	322
<i>Исход из СССР</i>	323
<i>Программа действий.</i>	324
<i>Крупнейший самиздатчик</i>	326
<i>Портвейн на прощание.</i>	328
Легенда без номера.	329
Страна советников	337
Что подумают “наверху”?	345
Великий Горби: как страна получила свободу и не воспользовалась ею.	354

<i>Идея как материальная сила</i>	355
<i>Гордость и предубеждения</i>	356
<i>Избавление от страха</i>	358
<i>Post scriptum. Свинцовый гроб и бетонный саркофаг</i>	360
Всесоюзный ребе	365
Споры о Германии и моральные ловушки	372
<i>Отмена культуры и языка</i>	373
<i>Германия злая и Германия добрая</i>	374
<i>Конформизм и руины</i>	375
<i>Европейская Германия</i>	378
<i>Post scriptum. Банальность Хайдеггера</i>	380
<i>“Дорогой Мартин”</i>	381
<i>Простой обыватель</i>	382
<i>Принуждение к лояльности</i>	384
<i>Корни и почва</i>	386
Швамбрания Орхана Памука	388
Его мужская правда	396
Свеча в темноте	404

Подписано в печать

Никто из них мне не снится. Зато они могут возникать в памяти на невидимой границе яви и сна. Как “тетя” Соня Рейн, ставшая для меня символом старой коммунальной Москвы: ее образ — это, скорее, не она сама, а крошечная комната окнами во двор-колодец, смешанный запах старости и лекарств, закупоренный в этом прямоугольном пространстве. Она — близкий человек, которого звали “тетей” несколько поколений семьи в течение десятилетий. Мы с мамой навещали ее очень часто. Мои воспоминания о ней обволакивает подлинная, ушедшая Москва: Чистопрудный бульвар, громыхающие трамваи, гулкие проходные дворы, переулки, резко разделенные на солнечную и теневую стороны, величественное и одновременно по-советски убогое парадное и причудливая широкая лестница в рембрандтовском уютном полумраке. Всё то, чего не было на нашей комфортабельной окраине на западе города.

Соня всегда была “тетей”, а на самом деле мне она приходилась “пратетей” — двоюродной прабабушкой. Здесь же рядом, в десяти минутах стариковской ходьбы, в переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, до своей кончины в конце 1950-х

жила прабабушка Анна — из рода, носившего фамилию Рейн.

Лицо тети Сони сохранилось в памяти нечетко и обретает внятные очертания только на графической картине ее племянницы, известной художницы Тамары Рейн. Лето, бабочки, старушка. И ощущение — ее локтями — алюминиевых подлокотников складного дачного стула.

В своем завещании, оставленном маме и папе перед самоубийством, тетя Геня среди точных указаний, как и между кем распределить ее скудное имущество, состоявшее в основном из книг, с холодноватой ясностью написала: “Письма Николая Александровича прошу уничтожить”. Книги тети Гени перекочевали в нашу библиотеку. На художественных альбомах — дарственные надписи этого человека, чьи письма мама, следуя воле покойной, вероятно, и в самом деле уничтожила. Макс Брод не исполнил волю Франца Кафки, Дмитрий Набоков не уничтожил “Оригинал Лауры” Владимира Набокова вопреки воле отца. Но надо было знать мою маму: если любимая тетя сказала сжечь, значит, надо сжечь. Черная бездна поглотила еще одну историю любви, полную трагических сомнений уже не слишком молодой — тем более по меркам советского времени — возлюбленной: не предаст ли она память погибшего во время войны мужа и умерших от последствий ленинградской блокады двух ее детей новой любовью к этому интеллигентному, судя по выбору книг, человеку?

Я всегда воображал его типичным представителем советской технической интеллигенции, внимательным, обходительным и дружелюбным мужчи-

ной за пятьдесят, умолявшим тетю Геню выйти за него замуж, посещавшим ее в костюме и галстук и непременно с цветами. “Моей Генюрке” — так надписывал он ей книги. “Моей”! А она не считала, что стала “его”. Так и не вышла замуж и не родила новых детей взамен старых; впрочем, наверное, любовь случилась уже тогда, когда любящие были в возрасте бабушек и дедушек. И всегда жила одна — что в том самом Казарменном переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, что потом у черта на рогах в квартирке в Вишняках, выйдя на пенсию из военно-морского ведомства, где ее проводили очередной почетной грамотой и прочими трогательными прощальными знаками внимания. Она писала стихи (“Ночь. Вешняки. Край новоселов..”), решала кроссворды, навещала любимую племянницу, мою маму, и купалась в преданной любви всей нашей семьи — и моем обожании. А потом заболела раком и умерла. Разумеется, мне не сказали, что это было самоубийство, хотя мне уже исполнилось тринадцать лет и за полтора года до этого я видел смерть — старшая сестра тети Гени, моя бабушка, внезапно скончалась на моих глазах. И вот вам: “Письма Николая Александровича прошу уничтожить”. Какая несправедливость!

Иногда в своей дочери я вдруг нахожу черты тети Гени. Девочка с миндалевидными глазами. Блуждающий ген, перескакивающий поколения.

Сон о встроенном шкафе. В нашей квартире, типичной для “цековских” кирпичных домов конца 1960-х — начала 1970-х, при входе справа в коридоре был встроенный шкаф для одежды. Мне приснилась

мама, приснилась старая квартира. Приснилось, как я открываю этот шкаф, снимаю с вешалки куртку. Какой-то реалистичный, бытовой сон, состоящий из простых, будничных движений. И в то же время пророческий. Потому что спустя день или два я оказался в старом “цековском” же доме, но не у нас на окраине, а в центре Москвы, из такого же кирпича, в квартире с типичной планировкой, с защелками и ручками в туалете такими же, как у нас. И только уходя из этого дома, где когда-то жил знаменитый спичрайтер вождей и всесоюзно известный журналист, и снимая куртку с вешалки из встроенного шкафа, я вспомнил этот сон. Как дежавю, как бытовое, но удивительное по своей точности пророчество.

Вся эта жизнь куда-то провалилась. Она неинтересна никому, словно ее и не было. Только эти сны и планировки квартир. Только книги, которые хранят пометы своих хозяев, записочки (“Сергулик, у нас есть много работающих ручек”), троллейбусные билеты и квитанции, оставленные десятки лет тому назад между страницами, удерживают то время.

Ощущение полного провала и отмены прожитых десятилетий оказалось ошеломляющим, как поток, которому невозможно сопротивляться, из-за военных действий в Украине.

Вся жизнь одним движением сброшена со стола. Остается только подбирать ее осколки.

Исчезновение времени. “Миансарова или Кристаллинская?” — спрашиваю я приятеля: в ресторане фоном исполняется песня начала 1960-х. Приятель прислушивается: “Скорее, Миансарова, у Кристаллинской голос повыше”. Много ли людей в этом

ресторане в течение дня, или недели, а может, года смогут задаться таким вопросом и сформулировать ответ? Хороший измеритель провалившегося в тартарары времени, сохранившего голос, но утратившего опознавательные знаки, титры, разъяснительную подпись под фотографией.

Мы сидим — три старых друга. Давно не виделись, поэтому основной предмет взаимного изумления — течение времени. Как быстро растут дети (шумный и смешной кудрявый мальчик лет семи — теперь двадцативосьмилетний работник консалтинговой фирмы, и понять это невозможно) и как болеют и умирают старшие родственники, которые совсем, казалось бы, недавно не были стариками. Пора бы привыкнуть. Нас троих много что объединяет, в том числе книги. И вдруг выясняется, что в подростковом возрасте каждый из нас читал книгу, которая знакома в поколении далеко не всем, поскольку речь не о Конан Дойле и Жюль Верне, — “Мой Дагестан” Расула Гамзатова. Мы даже можем кое-что процитировать из нее. Я помню эту серую обложку в серийном оформлении “Библиотеки «Дружбы народов»”. И наизусть помню многое из нее, помню и первый эпиграф — слова лакского народного поэта Абуталиба Гафурова: “Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки”. Мне не составило труда найти эту автобиографическую книгу-исповедь на полке. Здесь и эпизод с отцом Расула, поэтом и писателем Гамзатом Цадасой: мать просит детей не шуметь, потому что отец работает — читает. Чтение для писателя — это работа.

Выпал обильный снег, отчего стало светлее. Мы поставили елку. Хочется, как в детстве, спуститься к почтовому ящику, еще за три шага до него почувствовать запах свежей типографской краски, втянуть этот дивный аромат ноздрями и достать “Советский спорт” с поздравлением читателей с Новым годом — праздничный, в виде исключения синий цвет аншлага в черно-белой газете. Всё свежее: свежий снег, свежий лед, свежая газета.

Снег и снежная зима — почти единственное, что буквально способно напомнить Москву полувековой давности. Сумерки в снег — как световая ракета, сигнал, по которому, сделав уроки, пора выходить на хоккейную площадку во дворе.

И саундтрек хоккейного матча — что на дворовой площадке, что во дворце спорта — звук скрежетаемых клюшек, как потрескивающие в камине дрова.

Ощущение беззаботности и чувство безопасности. Исчезло и то и другое.

Неспособность вспоминать последовательно. Память состоит из всполохов и эпизодов, иногда совершенно случайных и необязательных, но намертво застрявших в потоке исчезнувших событий. Память спит. И просыпается благодаря свету, тени, запахам, предметам, повторению обстоятельств, звуку, разговору. “Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь”.

Эмма Гаевна, ироничная армянка, — лучшая подруга мамы. Ее портрет висит на стене нашей квартиры: она неуклюже стоит на лыжах, во рту — неприкурная, белее снега сигарета. Проезжая мимо ее

дома, всегда хочу свернуть с улицы Обручева во двор. Потеря — это когда невозможно вернуть и свернуть. Место остается пустым, незаселенным, с растрепанной от невозможности вернуть человека памятью. “Никогда не возвращайся в прежние места”? Память возвращается, но это как старая киноплёнка. Есть изображение, хотя и с царапинами, могут даже добавиться светотени и запахи. Но место без человека, которого больше нет, — пустое.

Руфина Александровна, теща брата, человек, интеллектуально и духовно попадавший в такт с моими родителями, накрепко связана для меня с Новым годом. В каждый Новый год они с родителями ходили в театр, закрывая триста шестьдесят пятый день, а после она у нас ночевала. Повторяющийся ритуал, связанный с повторяющимся событием. И его, этого ритуала, больше нет, потому что нет человека. Это как старые и старшие мои друзья, к которым привык заезжать, отгаивать и пить водку из старинного графина: хочется свернуть с Кутузовского во двор, а их там уже нет, они живы, слава богу, но уехали отсюда — и из этого города, из этого времени и места, из страны, где “отравлен хлеб, и воздух выпит” — навсегда, уехали так, как это делалось в 1970-е, без возможности возвращения. А рефлекс — свернуть! — остался, превратившись по ходу дела в фантомную боль и очень близкое, очень отчетливое воспоминание.

Исчезновение людей, читающих книги в метро. В принципе — людей, читающих бумажные книги и бумажные газеты. Исчезновение лыж. Исчезновение лыжни в парке, где привык каждую зиму наво-

рачивать круги по привычному маршруту. Исчезновение людей, не умеющих водить машину. Исчезновение читателей, замещение их слушателями и зрителями. Исчезновение имен-отчеств, все — по имени. Исчезновение церемонности, а иногда и вежливости в обращении людей друг к другу. Исчезновение мужчин, которые просят у дам разрешения снять пиджак; гостей, которые звонят с благодарностью на следующий день после встречи; хозяев, подающих уходящим гостям пальто. Да что там — исчезновение московских домашних обильных застолий. Исчезновение дресс-кодов в театре. Исчезновение людей, носящих галстук, если только они не дипломаты, чиновники или чудаковатые старики, торжественно отправляющиеся на прогулку. Кажется, что из человеческих отношений исчезают эмпатия, сочувствие и благодарность. Впрочем, когда придерживаешь дверь, многие искренне благодарят. И это... удивляет.

“Очарованный странник с пачки «Памира»” — да это же конец пятидесятых, это моя мама в туристических шароварах и с рюкзаком за плечами, ведущая в горы отряд подростков из ее французской спецшколы и отважно берущая ответственность за их жизнь и здоровье.

Поверхность старой фотографии потрескалась — как полотно старого мастера, написанное маслом.

Фото, на котором на фоне нашего дома на углу Ленинского и Кравченко папа держит на руках меня, заранее меланхоличного в связи с надвигающейся громадой жизни, постепенно выцветает. Скоро от

нас с ним останутся одни силуэты в акварельных тонах. В небытие мы уйдем вместе.

Рассвет в тех же акварельных тонах — цвета слабого раствора марганцовки. От него даже, как и от марганцовки, подташнивает.

Странно видеть на выставке картину, которую созерцал много раз в домашних декорациях частной коллекции. Перемещение предмета из привычного интерьера есть исчезновение его. И это — тоже укол боли. И ностальгической, и по ушедшему человеку, хозяину этой картины.

Приближение смерти: сердце сжимается, толчки его неравномерны. А завещание не составлено, коды от карточек, позволяющие членам семьи снять деньги, не записаны, имена предков на старых фотографиях детьми не выучены, да и не нужно им это, неинтересно; не указаны места хранения документов на могилы родных и близких на трех московских кладбищах. Оказывается, вот что оставляет — или не оставляет — после себя отец семейства.

Тревожный стук в висках. Стремительный пульс. Непреодолимая усталость, которую ты, трудоголик, привык подавлять, вдруг побеждает, кладет на обе лопатки: пришло повышенное давление, которого отродясь не бывало.

Но есть способ борьбы, кроме лекарств: сесть в кафе или баре в районе бывлой Пречистенской части со старым другом, чтобы не напрягаться в разговоре или молчании. Выпить водки, в случае давления — виски или лучше бренди де херес.